

Ольга Николаевна Кулишкина
(Санкт-Петербург, Россия)

**АФОРИЗМ В РУССКОМ КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
XIX – НАЧАЛА XX ВВ.**

Abstract: The article deals with the history of the Russian aphorism of the 19th – beginning of the 20th century.

Keywords: aphorism, genre, aphoristic thinking, Russian literature of the 19th – beginning of the 20th century

В 1807 году на страницах «Вестника Европы» появляются «Мои мысли» юного И.И. Лажечникова. Это маленькое подражательное сочинение будущего исторического романиста («...я ...написал «Мысли в подражание Лабрюйера» – заметит Лажечников в позднейшей автобиографии) – одна из первых известных нам попыток самостоятельного афористического творчества на русской почве. До 1815 года появится еще ряд таковых, принадлежащих перу Ф.Глинки, И.Лажечникова, В.Пушкина, И.Дмитриева, А.Маздорфа, П.Вяземского, предвещая близкую эпоху увлеченной эксплуатации новоосвоенного «жанрового канона»¹, которая начинается с половины второго десятилетия XIX века².

Первоначально отчетливо сориентированная на подражание известным европейским (прежде всего – французским) «классическим образцам», новорожденная отечественная афористика уже в середине 1820-х годов (с наступлением так называемой «эпохи мысли») переживает своеобразный «кризис жанра»: в отечественной литературной среде появляются суждения о полном несоответствии «мыслей и размышлений» русских

¹ К началу XIX века европейская литература «максим и размышлений» была достаточно хорошо знакома русскому читателю. Во второй половине века Просвещения разнообразные переводные «мысли нравоучительные» становятся традиционным материалом отечественной периодики. В 1810-х годах на страницах русских журналов появляется ряд критических материалов, содержание которых дает основание определенно утверждать, что к этому времени в отечественном литературном сознании формируется представление о некоем особом роде прозаических сочинений, обладающем рядом специфических формальных признаков (краткость, «отдельность», «крепость» мысли; особая «строгость», точность, ясность слога), ориентированном на определенное содержание («правила ума и сердца»), наконец – имеющем свой ряд высоких образцов: «Удачные опыты сего слога находим в некоторых новейших писателях ...небесполезно обнять взором их классические творения. Первый образец в сем роде выдал в свет ла-Рошфуко... за Рошфуко следовал ла Брюйер. ...наконец Шамфор...» (см.: Российский музей, 1815. Ч.4. С. 145-146).

² Один только «Вестник Европы» с 1815 по 1825 год опубликовал около 30 аналогичных материалов, принадлежащих перу П.Шаликова, С.Нечаева, Н.Иванчина-Писарева, И.Лажечникова, А.Писарева, А.Маздорфа, М.Дмитриева.

авторов основному признаку данной жанровой формы – ее способности «в кратких словах» «преломить много смысла». Например – резкая эпиграмма П.А.Вяземского с характерным названием «Наши Ларошфуко»:

В журналах наших всех мыслителей исчисли!

В журналах места нет от мыслей записных.

В них недостатка нет; но в мыслях-то самих

Недостает чего-то: «Мысли!»³

Обозначенная ситуация оказывается конкретным проявлением происходящего на русской литературной почве процесса утраты старого, риторического восприятия композиционно-речевой формы как изначально и безусловно наделенной смысловой целесообразностью. Формирование принципиально иного отношения к слову, чей смысл рождается заново в каждой новой встрече субъекта высказывания и действительности, и провоцирует, в частности, переоценку нормативно-подражательных «мыслей» русских литераторов, одновременно порождая предпосылки для дальнейшего развития жанра: проблематизация риторической в своей основе авторской установки на «написание мыслей» (П.А. Вяземский) непосредственным образом актуализирует задачу выражения мысли. Не случайно, в этой связи, все первоначальные попытки собственно оригинального отечественного афористического творчества возникают как своеобразное преодоление формального жанрового канона: отказ от точного воспроизведения известных образцов внешней структуры афористического высказывания – «препоны» на пути свободного движения авторской мысли – в том или ином виде находим у А.С.Пушкина, П.А.Вяземского, В.Ф.Одоевского, М.П.Погодина, наконец – у создателей Козьмы Пруткова.

«Выдержки из записной книжки» П.А. Вяземского⁴ и «Отрывки из писем, мысли и замечания» А.С. Пушкина⁵ являют собой первые примеры внутренне ответственного высказывания, осуществляемого в пределах традиционной жанровой формы моралистически-нравописательной афористики. Создатель «Записных книжек» достигает этого путем принципиального «отказа от авторства». (Ср. здесь его позднейшее стихотворное «свидетельство»: «Я просто «Записная книжка», Где жизнь играет роль писца...».) В публикациях 1820-х годов, которые он недвусмысленно соотносит с отечественной литературой «мыслей и замечаний», эта установка проявляется в очевидном стремлении устранить традиционного субъекта моралистического афористического высказывания – как носителя готовой формы, готового слова о жизни – с тем, чтобы дать возможность высказаться самой жизни.

³ Московский телеграф, 1826. Ч. 8. Отд. 2. С. 47.

⁴ Публиковались в 1826 г. на страницах журнала «Московский телеграф».

⁵ Опубликованы в альманахе «Северные цветы на 1828 год».

Таким манером Вяземский пытается создать законченную словесную конструкцию, организующим принципом которой является запечатление «сколка» (сгустка) бытия в некоей имманентной этому бытию форме. Таковой и становится особый (принципиально не украшенный) «умный слог», основной закон которого – яркость, выпуклость, «зрелищность» мысли, где все «не в бровь, а в глаз; все так и колет; все сказано, выпечатано и перепечатано» (Вяземский 1826: 38), где словесный образ не самоцель, но лишь средство пластического запечатления мыслительного «слежка» бытия. Пушкинские «Отрывки из писем, мысли и замечания» в свою очередь оказываются своеобразной сублимацией индивидуально-авторского (личностного) высказывания, которое благодаря лежащей в его основе «вдохновенной геометрии» слова оказывается способным вскрыть самую суть жизни.

Обретаемая таким образом к началу 1830-х годов свобода взаимоотношений субъекта афористического высказывания и его композиционно-речевой формы создает необходимые условия для существования и дальнейшего развития русского афоризма как самостоятельной национальной разновидности данного жанра европейской краткой прозы. Наследуя пушкинский принцип построения афористического высказывания, «соавторы-опекуны» Козьмы Пруткова создают афоризм, основанный на «геометрически выверенном» столкновении двух противоположных типов языкового мышления.

Живое «ненормированное» слово, предельно «сырое», необработанное, будто бы вырванное из той самой «жизненной гущи», которую старался запечатлеть в своих «Выдержках из записной книжки» Вяземский, пытается воплотиться в традиционных, хорошо известных, но – чуждых, не соприродных ему формах, маскируется под узаконенные канонические литературные «словоформы», с неизбежностью острая их – так рождается пародийный ореол Пруткова-афориста и одновременно возникают предпосылки для его преодоления. Ибо попадая в жесткие границы морализаторского афористического высказывания, необработанное («бытовое») слово Пруткова не только способствует их проблематизации. Одновременно оно реанимирует данный жанровый канон, насыщая его всеми своими разнообразнейшими жизненными (житейскими) смыслами и ассоциациями, каковые избирательно – в зависимости от личного опыта и кругозора – улавливаются читателями, каждый из которых оказывается вынужденным заново интерпретировать смысл, восполнять «смысловые пустоты» афористического высказывания, не ограничиваясь не только традиционно ожидаемым «моралистическим», но также – пародийным его аспектом. Так рождается настоящий афоризм – который можно «смело уподобить» первой в русской истории жанра настоящей парадоксальной максиме.

Сложный и неоднозначный «феномен Пруткова» имел немаловажное значение для дальнейшей истории русской афористики, во многом

подготовив своеобразную жанровую переориентацию, в результате которой к началу XX в. на русской литературной почве появляется своего рода новый «жанровый канон». А именно – массовая смехотворно-нравописательная афористика, которая возникает как факт отечественного литературного процесса на рубеже 60-70-х гг. XIX столетия, закрепляя в своей структуре поверхностно-смехотворный аспект той «серьезной игры» свободно-объективируемым жанровым каноном, которая и обеспечивает его жизнеспособность в афористическом творчестве Козьмы Пруtkова. Имея в своей основе «одномерную» авторскую установку на сиюминутный комический эффект, для достижения которого используется прием более или менее подчеркнутого несоответствия формы и содержания, «смехотворный» афоризм существовал исключительно на страницах тонких юмористических журналов 1870-80-х годов. Он на четверть века определил периферийную судьбу жанра в отечественном литературном процессе, но вместе с тем закрепил в сознании читателя возможность комической реакции на «общие места» формы и содержания «высокого канона» моралистического афоризма, легитимированную прутковскими «Плодами раздумий». Риторическая в своей основе установка моралистического афоризма на «снятие» жизненного хаоса гармонизирующей силой слова, наделенного высшим вневременным смыслом, не отвечала запросам новой культурной эпохи. Появление «смехотворно-нравописательной» афористики, которая настаивала на внимании именно к «мелочишкам» частного, даже интимного, быта, стало откровенным симптомом этого несоответствия, также как и очевидная редукция моралистической линии жанрового развития. Ее воспроизводство на отечественной литературной почве конца XIX – начала XX вв. связано исключительно с различными сборниками преимущественно переводных «мудрых мыслей» (в ряду которых – «Мудрые мысли на каждый день» и «Круг чтения» Л.Н. Толстого).

При этом русская словесность рубежа XIX-XX вв. не утрачивает интереса к афористической композиционно-речевой форме как таковой. Напротив того – особая природа афористического жанра становится необыкновенно актуальной для отечественного культурного сознания нового переломного времени, о чем впервые недвусмысленно и прямо заявляют сами авторы афористических текстов. Так, Л.В. Шестов и В.В. Розанов открыто утверждают афористику в качестве единственно возможной для них формы литературного творчества.

Г.В. Флоровский недаром провел в свое время параллель между атмосферой рубежа XIX-XX вв. и 20-30-х гг. XIX столетия. Прошлый рубеж веков с новой силой поставил вопрос, актуальный для периода первого «великого ледохода» (М.О. Гершензон) русской мысли: что есть истина, «истина полная и безусловная», «которая обняла бы собой все» (В.Ф. Одоевский). Но в отличие от эпохи русского любомудрия, страстно

верившей в возможность реального обретения «Абсолюта», рубеж веков знал о проблематичности окончательного постижения «последней истины», настаивая скорее на вечном движении поиска. «Года итогов» (конец века), ставшие одновременно годами необыкновенно острого осознания несводимости жизненного (мирового) целого к единому «всеобъясняющему» знаменателю, закономерно провоцируют осознание афористической формы как единственно возможного «способа формулирования» какого-либо слова о том, «что есть истина»; как не упрощающего ситуацию (не сводящего все дроби к единому знаменателю) «примирения» Относительного и Абсолютного – через обнаружение их плодотворно-непримиримого конфликта.

Вместе с тем в утверждении Л. Шестова о том, что «разрозненные, не связанные между собой мысли, ...незаконченные, беспорядочные, хаотические, не ведущие к заранее поставленной разумом цели, противоречивые, как сама жизнь, размышления ...ближе нашей душе, нежели системы, хотя бы и великие системы, творцы которых не столько заботились о том, чтобы узнать действительность, сколько о том, чтобы “понять ее”» (Шестов 1911: 13), возможно уловить нить непосредственной преемственности по отношению к рассуждениям В.Ф.Одоевского об «афористической одежде новейшего мышления», которые мы находим в одной из ранних неопубликованных заметок писателя. Как следует из этих рассуждений, и для будущего автора «Русских ночей» афористическая форма представляла явление безусловно плодотворное («роскошная груда развалин»), однако – исключительно как залог «грядущего оцельнения», построения на основании этих «беглых набросков» совершенного, цельного «здания».

Наследие В.Ф. Одоевского представляет чрезвычайный интерес для изучения процесса адаптации на отечественной культурной почве афористической формы фиксации художественно-философского опыта, причин и конкретных вариантов ее преломления национальным культурным сознанием. Так, с именем писателя связан один из первых примеров проявления в русской словесности традиции немецкого романтического фрагмента («Парадоксы», опубликованные без подписи автора в 1827 году в журнале любомудров «Московский вестник»⁶).

Проступающее за строками «Парадоксов» напряженное биение мысли, пытающейся, исходя из принятых на веру положений «чужой» «теории Сущего» (философия тождества Ф.-В.Шеллинга), самостоятельно осознать некую логику своего собственного (национального) бытия, позволяет рассматривать эти во многом подражательные афоризмы неопфита-любомудра в качестве определенного предвестия нового этапа

⁶ Еще ранее, однако, данная традиция обнаруживается в «Афоризмах» И.Я. Кронеберга, поклонника новейшей германской философии и литературы (см.: Амалтея. Труды Ивана Кронеберга. Харьков, 1825. Ч. 1).

русской жанровой истории, когда афоризм становится одной из форм самопостроения отечественной мыслительной культуры с ее известным тяготением к сверхлогическим (А.Ф. Лосев) – образным – путям самореализации. Эта необыкновенная сопряженность афористического жанра русской мыслительной культуре, сориентированной на воссоздание целостной и, вместе с тем, всеобъемлюще-адекватной действительности «теоретической модели» реальной практики человеческого бытия, обнаруживается, например, в «Исторических афоризмах» (1827; 1836) М.П.Погодина, также связанных с немецкой афористической традицией⁷.

Пестрая смесь разрозненных фрагментов, фиксирующих и сводящих воедино отдельные исторические факты, – эта макроструктура была словно специально предназначена для сколько-нибудь возможной реализации любимой идеи Погодина-историка: воссоздание целостного образа истории на основе максимально полного (адекватного) освоения всей эмпирии исторической временной перспективы. Собрание разрозненных афоризмов – макротекст, в котором максимально усиливается способность афористического микротекста к потенцированию «всего» (целого, миропорядка) путем фиксации «отдельного» (факта), – объективно позволяло Погодину некоторым образом создать необходимую ему ситуацию «внутреннего» видения Целого, проступающего в «частично восстановленной» им исторической картине.

Вместе с тем «Исторические афоризмы» отчетливо демонстрируют характерную черту афористической жанровой ситуации, как она складывается во второй четверти XIX столетия, на момент возникновения собственно русского афоризма: первые образцы такового мы находим в творчестве писателей, в связи с которыми целесообразно говорить не о сознательном использовании возможностей афористической литературной формы, но о своего рода интуитивном «обретении» ее – как единственно возможного способа реализации (воплощения и тем самым – разрешения) некоей владеющей автором целостной мысли. С аналогичным явлением мы сталкиваемся уже в творчестве П.А. Вяземского. Автор «Записных книжек», обращаясь к афористической форме фиксации «сколков бытия», не только не рефлектирует это в качестве сознательного выбора своей «жанровой ориентации», но, как заметила в свое время Л.Я. Гинзбург, не особенно стремится выходить с этим материалом к читателю (Гинзбург 1982: 84).

Еще один пример «интуитивного» использования возможностей афористической литературной формы для наиболее адекватного запечатления предносящегося автору целостного мыслительного образа бытия (минуя неизбежные «ограничители адекватности», присущие

⁷ Сам Погодин называл в качестве соотносимых по литературной форме с его афоризмами сочинения И.Кроненберга и Жан-Поля.

научно-систематическому и собственно художественному способу созидания аналога действительности) – это «Психологические заметки» (1843) В.Ф. Одоевского. Актуальная для любомудра-Одоевского идея безусловного обретения истины полной и все собой обывающей, окончательно разрешающей все сомнения и вопросы, естественно приводит его к афористической форме изображения бытия, но столь же неизбежно не дает осознать данную фрагментарную форму в качестве самоценной и самодостаточной, заставляя считать ее формой «низшей», долженствующей быть снятой целостной «совершеннейшей» системой.

Весьма показательным является то, что Погодин настойчиво и неуклонно отстаивал бесформенную форму своих «Исторических афоризмов» перед современниками, недоумевавшими по поводу их непонятной «хаотичности» и «необработанности»⁸. Однако и он, подобно Одоевскому, никогда открыто не прокламировал исключительных возможностей афористической формы как таковой. Автор «Исторических афоризмов» также не изменяет наисокровеннейшей идее своего времени, беззаветно устремленного к постижению Целого, к реальному обретению абсолютной и полной истины, каковая несомненно должна лежать в основании действительного бытия, определяя его гармоническое единство.

Напротив того, Шестов-автор «Апофеоза беспочвенности», начиная с утверждения принципиального «несхождения концов» в реальной жизни (ср. строку из Гейне в эпитафии к первой части «Апофеоза...»: «Zu fragmentarisch ist Welt und Leben» – «Мир и жизнь слишком фрагментарны»), приходит к утверждению, что афоризм – единственно корректная, не спрямляющая действительность, форма ее изображения. Форма, единственно позволяющая уберечься от «греха мировоззрения» (приверженности единой и единственной «точке зрения»), которое, избавляя от мучительно-честного сомнения в «последних вопросах бытия», дарует человеку мнимо-спасительную сень «убеждений» и «общих идей», уводя от адекватного познания мира во всех его «несходящихся» противоречиях и неуравновешиваемых «дробях», превращая живого, мыслящего человека в «статую».

В свою очередь В. Розанов, единственный из современников Шестова, кто смог по достоинству оценить афористическую природу «Апофеоза беспочвенности», еще в 1905 году, по сути, объяснился с читателем по поводу формы своих будущих фрагментарных сочинений («Уединенное», 1912; «Опавшие листья», 1913; 1915): «Книга [«Апофеоз беспочвенности». – О.К.] т. о. рассыпалась, и вместо ее появился хаос афоризмов. Каждый камешек здесь говорит за себя и только о себе и имеет свою удельную цену, определяемую составом его и обработкою, а никак не ценностью постройки, в которую он вставлен. Да и вовсе нет

⁸ См., например: Московский телеграф, 1827. Ч. 1.

такой постройке. Вся книга представляет собой сырую руду души автора, – души, поработавшей много, утончившейся, наточившейся в этой работе; но которая вдруг ослабела и, растворив двери в себя, говорит: “входите сюда все и смотрите, что тут осталось и выбирайте, что кому нужно [...]” Получилась [...] книга действительно интересная, изумительно искренняя... Потеряв “систему” – книга его выиграла в истине и точности [...] Тут есть не только философия, а даже немножко религии: “мир Божий лучше человеческого”... К нему, к его подножию Шестов и положил венок философа» (Розанов 1905: 4).

Как видим, Розанов необыкновенно точно и емко характеризует своеобразную позицию автора «Апофеоза беспочвенности» по отношению к его читателю («...выбирайте, что кому нужно»; ср. у Шестова: «Почему не предоставить каждому человеку права обманываться, как ему вздумается?») (Шестов 1911: 76), обнажая, по сути, самый нерв специфической «жанровой экзистенции» афоризма, которая состоит в чрезвычайной активизации креативной деятельности читателя, направленной на «восполнение» оставленных автором «смысловых пустот» афористического высказывания (Requadt 1976; Neumann 1976; Fricke 1984). Будущий автор «Уединенного» тонко улавливает и формулирует исключительные возможности текста, возникающего в результате подобной редукции авторского всевластия, текста, который существует как бы вне законов литературной формы, повинуюсь лишь «живому дыханию» самой действительности. Эта исключительная четкость в осознании возможностей афористического жанра как формы запечатления мира и человека в их реальной сложности и многообразии знаменует новый, поворотный момент в истории русского афоризма, который в начале прошедшего столетия впервые занимает полноправное и значительное место в отечественном литературном процессе. Так афоризм становится наиболее адекватным воплощением розановского «нутряного» (органического) видения мира, своего рода «специфически-розановской» формой самовыражения.

Литература

- Вяземский, П.А. (1826) Выдержки из записной книжки // Московский телеграф. Ч. 12. С. 38-39.
- Гинзбург, Л.Я. (1982) О старом и новом. Ленинград.
- Розанов, В.В. (1905) Новые вкусы в философии // Новое время. №10612. С.4.
- Шестов, Л.И. (1911) Собр. соч. СПб., Т. IV.
- Fricke, H. (1984) Aphorismus. Stuttgart.
- Neumann, G. (1976) Einleitung // Der Aphorismus. Darmstadt. S. 1-18.
- Requadt, P. (1976) Das aphoristische Denken // Der Aphorismus. Darmstadt. S.331-377.